

Л.С. Выготский апеллирует к достаточно сложным и нетипичным для экспериментальной психологии концептам: высшие психические функции, знаковое опосредствование, значение и смысл и пр. При этом, однако, эмпирический фон его построений задан, преимущественно, экспериментами с детьми дошкольного возраста, примитивами и т.д. Таким образом, возникает некоторое сущностное противоречие: культурно-историческая концепция в психологии, имеющая амбицию качественной переделки всего инструментария и практик воспитания в соответствии с некоторыми «задачами будущего» оказывается, в преобладающей степени, фундирована опытом взаимодействия с примитивными человеческими культурами и практиками воспитания детей дошкольного и младшего школьного возрастов.

Нам представляется интересным обратиться к чтению известной книги Цицерона «Об ораторе», артикулируя некоторые из ее содержательных линий и интерпретаций, руководствуясь концептуальными и методологическими наметками Л.С.Выготского, с целью решения двух взаимосвязанных проблем:

1) во-первых, осмыслить интеллектуальную перспективу, предлагаемую культурно-исторической теорией Л.С. Выготского в отношении аутентичных текстов «высокой речевой культуры», а именно текстов Цицерона;

2) во-вторых, проблематизировать значения и смыслы классических текстов (и, в частности, текстов Цицерона) для современной ситуации в мире и культуре, обозначить возможности и границы трансформаций классических культур в современном контексте.

Однако прежде чем мы приступим к анализу текста Цицерона, попытаемся эксплицировать некоторые фундаментальные для нас смыслы интерпретации соотношения «мышления и речи».

Во-первых, основным предметом интереса для Л.С.Выготского в его попытках понимания психологических систем является ведущая роль *соотношения между мышлением и речью*. Действительно, мысль и слово символизируют два полюса любой публичной речи: именно мысль задает направленность и структуру речи, именно слово представляет собой непосредственный «инструмент» действия. Однако сложность исследования этого отношения заключается в том, что в отличие от слова, которое всегда эксплицитно представлено в речи и может быть оценено во множестве аспектов, включая количественный, фонематический и пр., мысль никогда не объективируется вполне. Разумеется, это не значит, что мысль полностью избегает любого внешнего описания и оценки: мы мо-

жем отслеживать свои мысли в акте интроспекции; наконец, современные методы отслеживания поведения позволяют, опираясь на исследование микрореакций человеческого организма, восстанавливать те мысли и образы, которые наличествуют в его сознании. Однако сколь точной не была бы возникающая картина, не следует забывать, что все-таки мышление возникает как результат некоторых реконструктивных действий, но не явлено непосредственно.

В то же время в самой речи есть вполне определенные маркеры, позволяющие дифференцировать эти два слоя гуманитарной практики: сама речевая реальность репрезентирована через то, что «говорится», «утверждается», «излагается», а мыслительная реальность через то, что «думается», «мыслится», «полагается» и т.д. Именно через соотнесение этих двух смысловых рядов, мы можем, в некотором отношении, приблизиться к пониманию соотношения между мыслью и речью в каждом конкретном сюжете и тексте. Для нас это важно постольку, поскольку тексты Цицерона являются не только одним из наиболее значительных памятников Античности, но, в значительной мере, репрезентируют классический риторический канон.

Во-вторых, Л.С.Выготский со всей определенностью ставит проблему «психологических единиц», т.е., по сути, минимальных объектов, обладающих всеми свойствами целостной психологической системы в ее способности к развитию, трансформации, совмещению эмоциональных, речевых и мыслительных аспектов и т.д. Для него самого функцию минимального объекта («клеточки») исполняло значение слова, интегрирующее словесный (коммуникативный) и мыслительный (когнитивный) аспекты.

Это напрямую связывалось с тем, что значение слова есть переменная, а линии его развития сложно взаимодействуют друг с другом: например, инструментальная (мыслительная) сторона значения может достаточно сложным и опосредованным образом взаимодействовать с его коммуникативной (речевой) стороной.

В этой же логике, говоря о тексте Цицерона, мы склонны рассматривать большее количество линий в развитии значения, в том числе, выделяя «публичную» и «приватную» линии развития мысли; мысль как интуитивный и перформативный акт и др. Все это обретает смысл в отношении к попытке понимания специфики конкретного сопряжения и совместного развития мышления и речи, которое является нормативным для классического риторического канона.

В-третьих, мы хотим отнестись к «процессуальному отношению мышления и слова», т.е. той фазовой структуре, по которой движется мысль и слово. Действительно, речь имеет, как минимум, внеш-

нее выражение (конкретный порядок слов) и внутренний план речи (свое смысловое строение), которые никогда не совпадают, но нередко напрямую противоречат друг другу. Сам Л.С.Выготский пояснял это на примере того, как логическое и психологическое подлежащие и сказуемые могут меняться местами (то, о чем говорится, с филологической точки зрения, может быть обратно тому, о чем говорится, с психологической точки зрения; известная фраза «Часы упали» повествует, с филологической точки зрения, о часах, в то время как психологический смысл связан именно с фактом падения).

Кроме того, развертывание внутренней и внешней структуры происходит в разных логиках — внутренний синтаксис всегда симультанный (мысль схватывает речь в целом, сразу, в то время как речь — сукцессивна, диахронична, и представляет собой последовательное развертывание слов).

Говоря об этом соотношении на примере текста Цицерона, для нас особое значение приобретает то, как происходит, с одной стороны, «тематизация» с последующим «исчерпыванием» содержания в логике раскрытия внутренних форм слов; и, с другой стороны, как размеренное течение речи прерывается разрушением уже созданного образа текста и трансценденцией к смысловым основам текста (т.е. движению мысли).

Итак, обратимся к книге Цицерона «Об ораторе» и попытаемся эксплицировать соотношения между мыслью и словом, словом и значением, грамматической и смысловой сторонами речи, которые являются актуальными для автора, и реконструкция которых оказывается существенной для современной публичной коммуникации. Для этого мы будем приводить некоторые важные, с нашей точки зрения, фрагменты текста, давая им впоследствии интерпретацию, с точки зрения заданных Л.С.Выготским проблемных аспектов.

I

Посвящение (1–2). Что может быть тяжелее, чем решить, каков лучший образ и лучший облик речи, когда славные ораторы так не похожи друг на друга? Цицерон здесь использует следующий оборот: Лучший образ и как бы лучший облик речи — *optima species et quasi figura dicendi*. Словом *species* Цицерон здесь и далее обычно передает платоновское понятие «идея» (10). В § 19 и 133 в том же значении употреблено слово *forma*; в § 10, 43, 101 синонимы *species* и *forma* стоят рядом и получают, как и здесь, значение «образ и облик».

(7) Впрочем, создавая образ совершенного оратора, я обрисую его таким, каким, быть может, никто и не был. Ведь я не доискиваюсь,

кто это был, а исследую, каково должно быть то непревзойденное совершенство, которое редко или даже никогда не встречалось мне в речи выдержанным с начала до конца, но то и дело просвечивало то тут, то там, у иных чаще, у иных, быть может, реже, но везде одно и то же. Платон, этот достойнейший основоположник и наставник в искусстве речи, как и в искусстве мысли, называет такие образы предметов идеями и говорит, что они не возникают, но вечно существуют в мысли и разуме¹, между тем как все остальное рождается, гибнет, течет, исчезает и не удерживается сколько-нибудь долго в одном и том же состоянии. Поэтому, о чем бы мы ни рассуждали разумно и последовательно, мы должны возвести свой предмет к его предельному образу и облику...

(14) Так заявим же с самого начала то, что станет понятнее потом: без философии не может явиться такой оратор, какого мы ищем; правда, не все в ней заключено, однако польза от нее не меньше, чем польза актеру от палестры (ведь и малое нередко можно отлично сравнить с великим). Действительно, о важнейших и разнообразнейших предметах никто не может говорить подробно и пространно, не зная философии.

В этих трех взаимосвязанных фрагментах, по большому счету, задается некоторая внутренняя логика и архитектоника всего последующего текста. В действительности, первый же вопрос позволяет по-новому взглянуть на соотношение мысли и речи. В то время как конкретная речь оратора зависит от его индивидуальности, времени и места произнесения, и, по этой причине всегда вариативна и случайна, ее замысел (то, что Цицерон называет «лучшим образом» и «лучшим обликом») един и целостен, и определяется высшей идеей. Именно здесь становится понятной причина того поворота, который обычно опознается как «психологизм», возникший в XIX веке и представляющий известную антитезу философской традиции в гуманитарном знании, в целом. Начиная с Платона, философия исходит из наличия некоторого мира идей (точнее, идеальных форм), являющегося предельным и, что еще важнее, универсальным основанием человеческого знания. Соответственно, превраще-

¹ Платон говорит («Пир», 211а): [мыслитель увидит], «что прекрасное существует вечно, что оно ни возникает, ни уничтожается, ни увеличивается, ни убывает... Прекрасное предстанет перед ним само в себе, будучи единообразным с собою, тогда как все остальные прекрасные предметы имеют в нем участие таким, примерно, образом, что они возникают и уничтожаются, оно же, прекрасное, напротив, не становится ни большим, ни меньшим, и ни в чем не испытывая страданий» (пер. С.А. Жебелева).

ние мысли в слово носит характер некоторого «нисхождения», при этом различия в способах речи являются заведомо вторичными по отношению к самотождественности и единству формы. Напротив, психологизм исходит из того, что форма речи принадлежит, скорее, к высшему проявлению человеческой сущности, так как исходными пунктами речепорождения являются индивидуальные мотивы и потребности, в связи с чем, именно речь оказывается пространством возможного взаимного понимания и диалога. Между тем, наш повседневный опыт доказывает, что каждый из этих образов тяготеет к различным социальным моделям речевого взаимодействия: философской беседе, в первом случае, и агону, во втором. Очевидно, что ни один из этих типов речи не существует «в чистом виде», но каждая речь, в большей или меньшей степени, тяготеет к одному из полюсов. Таким образом, мы понимаем, что соотношение между мыслью и речью, в значительной степени, определяется самим жизненным миром говорящих, и по этой причине, может существенно варьироваться в различных обществах и культурах.

II. Оратор должен владеть всеми тремя стилями речи

(20) Речь бывает трех родов: иные отличались в каком-нибудь отдельном роде, но очень мало кто во всех трех одинаково, как мы того ищем. Были ораторы, так сказать, велеречивые, обладавшие одинаково величавой важностью мыслей и великолепием слов, сильные, разнообразные, обильные, важные, способные и готовые волновать и увлекать души, причем одни достигали этого речью резкой, суровой, грубой, незавершенной и не закругленной, а другие — гладкой, стройной и законченной. Были, напротив, ораторы сухие, изысканные, способные все преподать ясно и без пространности, речью меткой, отточенной и сжатой; речь этого рода у некоторых была искусна, но не обработана и намеренно уподоблялась ими речи грубой и неумелой, а у других при той же скудости достигала благозвучия и изящества и бывала даже цветистой и умеренно пышной.

(21) Но есть также расположенный между ними средний и как бы умеренный род речи, не обладающий ни изысканностью вторых, ни бурливостью первых, смежный с обоими, чуждый крайностей обоих, входящий в состав и того и другого, а лучше сказать, ни того, ни другого; слог такого рода, как говорится, течет единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости и равномерности: разве что вплетет, как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей.

Здесь Цицерон формулирует одну из универсалий всей античной, и, в конечном счете, европейской гуманитарной традиции — поиск некоторого «среднего пути» между двумя линиями. Попытаемся уточнить, в чем заключается конкретная реализация этой идеи.

Первый род речи, при всем многообразии его проявлений, связывает речь с движением (и волнением) души посредством обращения к величавым мыслям и великолепию слов. Второй род речи, напротив, может быть понят как «меткий» и «сжатый» с минимальным количеством украшений. Наконец, третий род речи представляет собой некоторое среднее положение между первыми двумя родами, и отличается тем, что «течет единым потоком», ничем не проявляясь кроме легкости и равномерности. Если попытаться определить каждый из этих родов речи через наиболее акцентируемый аспект человеческого бытия, то первый род речи, несомненно, направлен на захват и подчинение воображения; второй — на максимально точное воспроизведение обстоятельств окружающего мира, и, наконец, третий акцентирует внимание на движении речи, т.е. ее антропологическом, прагматическом значении. В некотором смысле это предвосхищает психоанализ в его лакановском смысле, когда речь становится реальностью, в которой взаимодействуют и конфликтуют сферы воображаемого, реального и символического. С точки зрения культурно-исторического подхода, мы можем говорить о том, что именно это тройственное отношение *образного, объектного и знакового* определяет специфику различных речевых традиций, как элементов различных культур.

III

(45) О чем бы ни говорилось в судебной или политической речи, выяснению подлежит, во-первых, имел ли место поступок, во-вторых, как его определить и, в-третьих, как его расценить. Первый вопрос разрешается доказательствами, второй — определениями, третий — понятиями о правоте и неправоте. Чтобы применить эти понятия, оратор — не заурядный, а наш, образцовый оратор — всегда по мере возможности отвлекается от действующих лиц и обстоятельств, потому что общий вопрос может быть разобран полнее, чем частный, и поэтому то, что доказано в целом, неизбежно доказывается и в частности.

Таким образом, Цицерон определяет структуру речевого акта, один из аспектов которого представляет собой установление связи с реальностью («имел ли место поступок»), второй — его содержательное определение («как его определить») и, наконец, тре-

тий — оценочное суждение («как его расценить»). Отметим, что развиваемый Цицероном подход находится в достаточно сложных отношениях с распространенным в контексте неклассической риторики деятельностным подходом.

Действительно, с точки зрения деятельностного подхода, речь возникает в связи с определенным мотивом, интересом, который оформляется как замысел речи. Соответственно, отправная точка речи — это ее субъективное измерение, намерение. Цицерон, напротив, сосредотачивает внимание на том, что имело место в реальности.

Следующим аспектом деятельностного подхода оказывается планирование речи, то есть выстраивание речи в виде последовательности эпизодов. Цицерон обращает внимание на понятийную работу, как центральную часть речи — квалификация произошедшего в рамках действующих правовых норм.

Наконец, и в деятельностном, и в правовом смысле, речь завершается оценочным компонентом, т.е. представляет собой формулировку обобщающего заключения, содержащего квалификацию произошедшего, и одновременно, правовое решение для участников. Таким образом, возникает своеобразный «стереоскопический» эффект: оценочная деятельность становится и основанием речи, и предметом речи, и, в конечном счете, инструментом самооценки для оратора.

С точки зрения проблемы мышления и речи, мы отмечаем здесь переплетение проблем, коренящихся в сложности отношений между действием, как предметом речи, и самой речью, как действием. Очевидно, что отношения оказываются предельно динамическими, неоднозначными: то, о чем говорится, способно оказывать самое непосредственное воздействие и трансформировать саму речевую практику, и напротив, в разных речевых контекстах, репрезентации одного и того же действия могут отличаться кардинальным образом.

Это, в конечном счете, обозначает огромное поле исследований и гуманитарных практик, связанных с выявлением динамических отношений между различными сторонами речи (мыслительной, объектной, лексической, стилистической) в процессе ее произнесения.

IV. Отличие речи от философии, софистики, истории, поэзии (62–68)

(63) Они (философы) разговаривают с людьми учеными, желая их не столько возбудить, сколько успокоить; говоря о предметах мирных, чуждых всякого волнения, стараются вразумить, а не увлечь; если они и пытаются ввести в свою речь приятное, то иным это

уже кажется излишеством. Поэтому нетрудно отличить их род красноречия от того, о котором мы говорим.

(64) Именно, речь философов расслаблена, боится солнца¹, она чужда мыслей и слов, доступных народу, она не связана ритмом, а свободно распушена; в ней нет ни гнева, ни ненависти, ни ужаса, ни сострадания, ни хитрости, она чиста и застенчива, словно невинная дева. Поэтому лучше называть ее беседой, чем речью: хотя и всякое говорение есть речь, но только речь оратора носит это имя по справедливости.

(65) Еще важнее установить различие при кажущемся сходстве с софистами², о которых я говорил выше, потому что они ищут того же убранства речи, которым пользуется и оратор в судебном деле. Но здесь различие в том, что их задача — не волновать, а скорее умиротворять души, не столько убеждать, сколько услаждать, и что они делают это чаще и более открыто, чем мы, в мыслях ищут скорее стройности, чем доказательности, нередко отступают от предмета, пользуются слишком смелыми переносными выражениями, располагают слова, как живописцы располагают оттеняющие цвета, соотносят равное с равным, противное с противным и чаще всего заканчивают фразы одинаковым образом.

(66) Смежным родом является история. Изложение здесь обычно пышное, то и дело описываются местности и битвы, иной раз даже вставляются речи перед народом и перед солдатами, но в этих речах стремятся к непрерывности и плавности, а не к остроте и силе. Поэтому красноречие, которое мы ищем, следует признать чуждым историкам не в меньшей мере, чем поэтам.

Ведь и поэты подняли вопрос: чем же они отличаются от ораторов? Раньше казалось, что прежде всего ритмом и стихом, но теперь и у наших ораторов³ вошел в употребление ритм.

(68) Но хотя слог иных поэтов и величав и пышен, я все же утверждаю, что в нем больше, чем у нас, вольности в сочинении и сопряжении слов, и поэтому, по воле некоторых теоретиков⁴, в поэзии даже господствует скорее звук, чем смысл. Поэтому, хотя поэзия и ораторское искусство сходны в одном — в оценке и отборе слов, от

¹ *Боится солнца* — противопоставление тенистого училища зною и шуму форума см. также в «Об ораторе», I.157.

² *Софисты* — здесь: учителя красноречия и парадные ораторы, о которых говорилось в § 37.

³ *Теперь и у ораторов* — после софистов и Исократ.

⁴ *Некоторые теоретики*, считавшие задачей поэзии только *delectare*, а не *docere* и *movere* — это прежде всего эпикурейцы и отчасти перипатетики.

этого не становится менее заметным различие во всем остальном. Это несомненно, и хотя здесь и возможны споры, к нашей задаче они не относятся.

Теперь, отделив нашего оратора от красноречия философов, софистов, историков, поэтов, мы должны объяснить, каков же он будет.

В этом достаточно пространным рассуждении Цицерон формулирует систему различий между способами речи (дискурсами) оратора, философа, софиста, историка и поэта. Между тем, каждый из этих способов речи характеризуется весьма специфическим образом, что позволяет эксплицировать некоторые смыслообразующие элементы каждого из способов речи.

По мнению Цицерона, речь философов строится для того, чтобы вразумить и успокоить, и этим существенно отличается от речи ораторов; ее содержание возвышено и отделено от ежедневных потребностей, наконец, она изначально диалогична (ее можно назвать беседой). Речь софистов стремится к утешению, умиротворению и услаждению, ищет стройности больше, чем доказательности. Историческое рассуждение строится на основе фактов (описаний), при этом сохраняя ориентацию на «непрерывность и плавность». Наконец, поэтическая речь характеризуется преобладанием ритма и стиха.

При всей кажущейся очевидности, рассуждение Цицерона актуализирует проблему соотношения мышления и речи в некотором новом контексте, а именно, где осуществляется мышление и смысл речи? Начиная со второй половины XIX века, в англо-американской традиции закрепилось представление о «семиотическом треугольнике», вершинами которого являются сам предмет (референт), его знаковое выражение и значение. Несколько позднее стало популярным различие между значением, как ссылкой к некоторому классу объектов, а смысл — как непосредственное языковое содержание высказывания (Г. Фреге).

В этой логике, можно говорить о смысле как о динамической структуре отношений между различными аспектами высказывания, которое возникает и изменяется в результате мышления. Более коротко, можно говорить о смысле как результате мышления, т.е. движения мысли. Соответственно, диалектика развития речи и ее смыслового наполнения оказывается вполне естественным и необходимым элементом понимания любой коммуникативной ситуации.

При этом, мышление укоренено в ответах на базовые вопросы: кто, зачем, с какой целью и в каком контексте будет строить свою речь, в то время как речь есть конкретная презентация этих намерений. Очевидно, что в процессе речи, ее смысловая и внешняя,

собственно словесная сторона, будут многократно уточнять и трансформировать друг друга (как сам актер может сказать что-то, не входящее в его первоначальные планы, так и слушатель может извлечь из речи какой-то смысл, который не вкладывался актером). Таким образом, каждый из процессов (мышление и речение) приобретают собственные предметы, направленность и логику.

V. Три задачи речи и три стиля: понятие об уместности (69–75)

(69) Итак, тем красноречивым оратором, которого мы ищем вслед за Антонием, будет такой, речь которого как на суде, так и в совете¹ будет способна убеждать, улаживать, увлекать. Первое вытекает из необходимости, второе служит удовольствию, третье ведет к победе — ибо в нем больше всего средств к тому, чтобы выиграть дело. А сколько задач у оратора, столько есть и родов красноречия: точный, чтобы убеждать, умеренный, чтобы улаживать, мощный, чтобы увлекать, — и в нем-то заключается вся сила оратора.

(71) Оратор к тому же должен заботиться об уместности не только в мыслях, но и в словах. Ведь не всякое положение, не всякий сан, не всякий авторитет, не всякий возраст и подавно не всякое место, время и публика допускают держаться одного для всех случаев рода мыслей и выражений. Нет, всегда и во всякой части речи, как и в жизни, следует соблюдать уместность по отношению и к предмету, о котором идет речь, и к лицам как говорящего, так и слушающих.

Проблема уместности речи находится в тесной связи с уже обсужденным нами соотношением между мышлением и речью: уместность обеспечивается двойным соответствием, с одной стороны, смысловым установкам говорящего (служить убеждению, улаживанию либо увлечению слушателя), и, с другой стороны, смысловым установкам слушающего (т.е. быть ожидаемой, с точки зрения статуса говорящего и его манеры держаться). Таким образом, можно утверждать, что и сама уместность речи — есть ее динамическое измерение, активно трансформирующееся в процессе говорения. При этом внутренняя уместность (уместность для говорящего) и внешняя уместность (уместность для слушателя) будут находиться в динамическом отношении: без их балансирования, речь оказывается либо неприемлемой, либо бессмысленной.

¹ *Как на суде, так и в совете* — *in foro causisque civilibus*, перевод по толкованию Кролля.

Не менее интересен сам спектр исходных установок — на убеждение (т.е. рациональное усвоение и присвоение некоторых новых смыслов), услаждение (разрешение от внутренних и внешних напряжений и гармонизацию душевной жизни) и увлечение (включение в ту или иную эмоциональную и действенную практику). Очевидно, что соотношение между этими установками (а, в особенности, понимание разной степени уместности каждой из них) является важнейшим маркером той или иной культурной ситуации.

VI. Разные роды речи

Простой род. Прежде всего должны мы изобразить того оратора, за кем одним признают иные имя аттического.

(76) Он скромен, невысокого полета, подражает повседневной речи и отличается от человека неречистого больше по существу, чем по виду. Поэтому слушатели, как бы ни были сами бездарны, все же полагают, что и они могли бы так говорить. Действительно, точность этой речи со стороны кажется легкой для подражания, но на пробу оказывается на редкость трудна. В ней нет избытка крови, но должно быть достаточно соку, чтобы отсутствие великих сил возмещалось, так сказать, добрым здоровьем.

(79) Речь такого оратора будет чистой и латинской, говорить он будет ясно и понятно, за уместностью выражений будет зорко следить. У него не будет одного лишь достоинства речи — того, которое Феофраст перечисляет четвертым: пышности сладостной и обильной. Он будет бросать острые, быстро сменяющиеся мысли, извлекая их словно из тайников, и это будет главным его оружием;

(90) Вот каким представляется мне образ оратора простого, но великого, и притом чистокровного аттика: ведь все, что есть в речи здорового и остроумного, свойственно аттикам. Правда, не все они отличались насмешливостью: ее много у Лисия и у Гиперида, больше всех ею славится Демад, у Демосфена же ее меньше; тем не менее, ни в ком я не вижу большего изящества. Однако Демосфен предпочитал остроумию насмешливость, ибо первые требуют смелого дарования, второе — большего искусства¹.

Умеренный род. Есть также иной род красноречия, обильнее и сильнее, чем тот низкий, о котором говорилось, но скромнее, чем высочайший, о котором еще будет говорить. В этом роде меньше всего напряженности, но, пожалуй, больше всего сладости. Он пол-

¹ Большого искусства — так как труднее выдержать насмешливый тон в долгом повествовании, чем короткой шутке.

нее, чем первый, обнаженный, но скромнее, чем третий, пышный и богатый.

(92) Ему приличествуют все украшения слога, и в этом образе речи больше всего сладости. В нем имели успех многие из греков, но всех превзошел, на мой взгляд, Деметрий Фалерский, речь которого течет спокойно и сдержанно, но при этом блещет, словно звездами, переносными и замененными выражениями.

Под переносными выражениями (метафорами) я имею в виду, как и все время до сих пор, такие выражения, которые переносятся с другого предмета по сходству, или ради приятности, или по необходимости; под замененными (метонимиями) — такие, в которых вместо настоящего слова подставляется другое в том же значении, заимствованное от какого-нибудь смежного предмета...

(96) Итак, это приятный, цветистый род речи, разнообразный и отделанный: все слова и все мысли сплетают в нем свои красоты. Весь он вытек на форум из кладезей софистов, но, встретив презрение простого и сопротивление важного рода ораторов, занял то промежуточное место, которое я описал.

Высокий род. (97) Третий род речи — высокий, богатый, важный, пышный и, бесспорно, обладающий наибольшей мощью. Это его слог своей пышностью и богатством заставил восхищенные народы признать великую силу красноречия в государственных делах — того красноречия, которое несетя стремительно и шумно, которым все восторгаются, которому дивятся, которому не смеют подражать. Такое красноречие способно волновать души и внушать желаемое настроение: оно то врывается, то вкрадывается в сердца, сеет новые убеждения, выкорчевывает старые.

(98) Но между этим красноречием и предыдущими есть огромная разница. Кто старается овладеть простым и резким родом, чтобы говорить умело и искусно, не помышляя о высшем, тот, достигнув этого, будет великим оратором, хотя и не величайшим: ему почти не придется ступать на скользкий путь, и, раз встав на ноги, он никогда не упадет. Оратор среднего рода, который я называю умеренным и сдержанным, будучи достаточно изошрен в своем искусстве, не испугается сомнительных и неверных поворотов речи, и если даже он не добьется успеха, как нередко случается, опасность для него все же невелика — ему не придется падать с большой высоты.

(99) А наш оратор, которого мы считаем самым лучшим, важный, острый, пылкий, даже если он только для этого рода рожден, только в нем упражнялся, только его изучал, — все же он будет заслуживать глубокого презрения, если не сумеет умерить свое бо-

гатство средствами двух других родов. Действительно, простой оратор, если он говорит опытно и тонко, будет казаться мудрым, умеренный — приятным, а этот, богатейший, если ничего больше у него нет, вряд ли даже покажется здоровым. Кто не может говорить спокойно, мягко, раздельно, определенно¹, четко, остроумно, когда именно такой разработки требует речь в целом или в какой-нибудь отдельной части, — тот, обратя свой пламень к неподготовленному слуху, покажется бесноватым среди здоровых и чуть ли не вакхантом, хмельным среди трезвых.

Наиболее интересным здесь нам представляется не только классификация родов публичной речи, поскольку она, в общем и целом, соответствует восхождению от «низких» жанров к «высоким», но то, какими характеристиками и оговорками сопровождает Цицерон обращение к каждому из жанров. В то время, как «простой» род речи вызывает практически безоговорочное преклонение у Цицерона и обозначается как «аттический», уже следование «умеренному» роду оказывается сопряжено с гораздо большим количеством условий и условностей, поскольку может встретить и «презрение простых», и «сопротивление важных ораторов». Но, самым проблематичным оказывается «высокий род», который не будучи дополненным первыми двумя, способен даже показаться «нездоровым».

Вероятно, не будет большого преувеличения сказать, что каждый из этих родов, в определяющей степени, связан с эпохой и культурной ситуацией, в которой он формировался: в то время, как высокий род — есть наследие архаического единства полемики и войны; умеренный род восходит к театральному действу, призванному развлекать людскую массу; простой род апеллирует к мышлению и речи индивидуального человека. И тот факт, что Цицерон превыше всего ставит именно простой род речи, является одним из важнейших свидетельств той культурной трансформации, который переживает Римская Империя во время Цицерона, и приводящей к возникновению субъекта мышления и речи, в современном смысле слова.

VII. Ораторское искусство как результат философского и научного образования и риторической техники

(113) Итак, я полагаю, что совершенный оратор должен не только владеть свойственным ему искусством широко и пространно говорить, но также обладать познаниями в близкой и как бы смеж-

¹ Спокойно, мягко — характеристика среднего стиля, раздельно, определенно — простого стиля.

ной с этим науке диалектиков. Хоть и кажется, что одно дело речь, а другое спор, и что держать речь и вести спор вещи разные, — однако суть и в том и в другом случае одна, а именно — рассуждение. Наука о разбирательстве и споре — область диалектиков, наука же о речи и ее украшениях — область ораторов. Знаменитый Зенон, от которого пошло учение стоиков, часто показывал различие между этими науками одним движением руки: сжимая пальцы в кулак, он говорил, что такова диалектика, а раскрывая руку и раздвигая пальцы — что такую ладонь напоминает красноречие.

(114) А еще до него Аристотель сказал в начале своей Риторике¹, что эта наука представляет как бы параллель диалектике, и они отличаются друг от друга только тем, что искусство речи требует большей широты, искусство спора — большей сжатости.

Итак, я хочу, чтобы наш совершенный оратор знал искусство спора в той мере, в какой оно полезно для искусства речи. В этой области существуют два направления², о которых ты, основательно занимаясь этими науками, конечно, знаешь. Именно, и сам Аристотель сообщил немало наставлений об искусстве рассуждать, и после него так называемые диалектики открыли много тонкостей.

(121) После такой подготовки приступит он к судебным делам и прежде всего установит, какого рода эти дела. Ведь для него не будет тайной, что во всяком сомнительном деле могут оспариваться либо факты, либо слова. Если факты, то рассматривается, так ли это было, справедливо ли это было и как это следует определить; если слова, то рассматривается или двусмысленность, или противоречивость. Так, когда мысль выражает одно, а слова — другое, это будет одним из случаев двусмысленности: так бывает, если оказывается пропущено слово, и весь смысл становится двояким, что и является признаком двусмысленности.

(122) А поскольку судебные дела столь неразнообразны, постольку неразнообразны и предписания насчет доводов³. Согласно традиции, они развиваются на основании «мест» двоякого рода: одни из самих фактов, другие со стороны.

¹ «Риторика» Аристотеля начинается словами: «Риторика представляет собой параллель диалектике», но дальнейшие рассуждения у Аристотеля отсутствуют: Цицерон передает его мысли с чужих слов.

² Два направления — перипатетическое, идущее от Аристотеля, и стоическое, разработанное Хрисиппом и его последователями — «диалектиками». Далее следует обзор основных разделов стоической логики.

³ Неразнообразны и предписания насчет доводов — тенденциозное упрощение: в действительности же система статусов очень сложна.

Таким образом, только разработка предмета делает речь воспитательной: ведь познать самые предметы совсем нетрудно. Что же, следовательно, является достоянием искусства? Создать вступление к речи, чтобы привлечь слушателя, возбудить его внимание и подготовить его к своим поучениям; изложить дело кратко и ясно, чтобы все в нем было понятно; обосновать свою точку зрения и опровергнуть противную и сделать это не беспорядочно, а при помощи такого построения отдельных доводов, чтобы общие следствия вытекали и из частных доказательств; наконец, замкнуть это все воспламеняющим или успокаивающим заключением.

Каким образом разрабатывать эти отдельные части — об этом здесь трудно сказать, так как не всегда они разрабатываются одинаково.

(123) Но я ищу не того, кого можно учить, а того, кого должно хвалить; а хвалить я буду прежде всего того, кто различит, что где уместно. Именно эта мудрость и нужна человеку красноречивому, чтобы он мог быть повелителем обстоятельств и лиц. Ибо я полагаю, что не всегда, не при всех, не против всякого, не за всякого и не со всяким следует говорить одинаково. Поэтому красноречивым будет тот, кто сумеет примениться в своей речи ко всему, что окажется уместным. Установив это, он скажет, что придется говорить, таким образом, чтобы сочное не оказалось сухим, великое — мелким и наоборот, и речь его будет соответствовать и приличествовать предметам.

(124) Начало — сдержанное, пока еще не воспламененное высокими словами, но богатое острыми мыслями, направленными во вред противной стороне или в защиту своей. Повествование — правдоподобное, изложенное ясно, речью не исторической¹, а близкой к обыденной. Далее, если дело простое, то и связь доводов будет простая как в утверждениях, так и в опровержениях; и она будет выдержана так, чтобы речь была на той же высоте, что и предмет речи.

(125) Если же дело случится такое, что в нем можно развернуть всю мощь красноречия, тогда оратор разольется шире, тогда и будет он властвовать и править душами, настраивая их, как ему угодно, то есть, как того потребуют сущность дела и обстоятельства.

Весьма интересным является различие «образования» и «техники», свойственное Цицерону. Подобное различие пронизывают

¹ Речью не исторической — так как «исторический» слог слишком близок к эпидиктическому.

всю западно-европейскую культурную и образовательную традицию, и до сих пор представляет собой одну из ключевых проблем выбора между «научным» и «технологическим» образованием.

При всем внешнем сходстве, научный и технологический компоненты находятся в разных отношениях с целостной культурой: в то время как научно-философский компонент возникает в ситуации множественности оснований, необходимости их рационального изложения, сопоставления, выбора и преобразования, технологический рождается из попыток «алгоритмизации» некоторого действия. Очевидны и сопоставительные достоинства (равно как и недостатки) каждого из этих родов: в то время как научно-философское знание предполагает углубленное исследование альтернатив и открывает перед человеком большие горизонты в познании, но не гарантирует успешности в каждой практической ситуации, технологическое знание более эффективно при условии соответствия каждой конкретной ситуации, однако оно может оказаться неэффективным, если ситуация изменилась и требует переосмысления той или иной практики.

Для нашего исследования, это имеет особый смысл: именно речь, в силу своего изначально линейного строения, оказывается гораздо более «технологической» и «алгоритмизируемой» практикой, нежели мышление, которое, в свою очередь, как раз, в большей степени связано с экспериментированием и оценкой альтернатив.

Условно говоря, мы можем выделить два типа образования, один из которых будет тяготеть к риторическому канону и, соответственно, иметь технологический уклон, а другой — к «мыслительной деятельности», и, соответственно, иметь научно-философский и научно-исследовательский характер.

VIII. Речь и власть.

Отступление: к лицу ли государственному деятелю рассуждать о красноречии? (140–148)

(140) Но все это не может достичь намеченной цели, если не получит в словах нужное расположение и как бы строй и связь. Видал я, что мне и об этом надо сказать по порядку; но здесь, кроме всего, о чем я уже говорил¹, еще более смущали меня вот какие соображения. Мне случалось встречать не только завистников, каких везде полно, но даже поклонников моих достоинств, которые считали, что человеку, чьи заслуги сенат с одобрения римского народа оце-

¹ О чем я уже говорил — § 32, 52, 75.

нил так высоко¹, как ничьи другие, не подобает столько заниматься в своих сочинениях техникою речи.

Если бы я им только и возразил, что не хочу ответить отказом на просьбу Брута, уже было бы достаточным извинением само мое желание удовлетворить честную и справедливую просьбу человека выдающегося и моего ближайшего друга.

(141) Но если бы я даже и пообещал — о если бы это было мне по силам! — преподать учащимся правила речи и указать пути, ведущие к красноречию, какой справедливый судья упрекнул бы меня за это? Кто мог бы оспаривать, что первое место в нашем государстве в мирные и спокойные времена² занимало красноречие, а знание права — второе? Ведь первое давало влияние, славу, опору, второе же — только средства к преследованию и защите. И право даже не раз прибегало само к помощи красноречия, а если и вступало с ним в борьбу, то с трудом защищало и собственные границы и пределы.

(142) Отчего же наука права всегда почиталась прекрасной, и дома знаменитых правоведов были полны учеников, тогда как человек, побуждающий молодежь к ораторскому искусству или помогающий в этом, подвергался порицанию? Уж если искусно говорить — это порок, то изгоните вовсе красноречие из государства; если же оно не только украшает своего обладателя, а и служит на благо всему государству, то разве позорно учиться честному знанию? и если обладать красноречием прекрасно, то разве учить ему не славно?

(143) «Но одно — общепринято, другое — ново». — Согласен; но и тому и другому есть своя причина. Знатки права не уделяли для обучения особого времени, а одновременно удовлетворяли и тех, кто приходил к ним за уроком и за советом — ведь достаточно слушать со стороны их консультации, чтобы выучиться праву. Ораторы же, у которых дома все время было занято изучением дел и подготовкой речей, на форуме — их произнесением, а остаток дня посвящен отдыху, разве могли отводить время обучению и наставлению? К тому же, думается мне, большинство наших ораторов едва ли не сильнее дарованием, нежели ученостью, и поэтому они лучше умеют говорить сами, чем учить других, тогда как я, пожалуй, наоборот.

¹ Оценил так высоко — Цицерон имеет в виду почести, оказанные ему после раскрытия заговора Катилины и после возвращения из изгнания.

² В мирные и спокойные времена — намек на то, что с приходом Цезаря к власти все пошло по-иному.

(144) «Но преподавать — занятие недостойное». — Конечно, ежели преподавать, как в школе; но если давать советы, поощрять, расспрашивать, помогать, а то и читать и слушать вместе с учениками, и если этим можно их сделать лучше, то зачем отказываться от преподавания? Или выучить слова, какими отрекаются от святынь¹, — это достойно (а это действительно достойно), а слова, какими можно сберечь и защитить самые святыни, — недостойно?

(145) «Но право объявляют своей специальностью даже те, кто его не знают; а красноречие даже те, кто в нем искусен, стараются скрывать, оттого что на опытных людей все смотрят с уважением, а на речистых — с подозрением». Но разве можно скрыть красноречие? Разве оно исчезнет, если даже его скрыть? и приходится ли бояться, чтобы кто-нибудь не счел, что самому учиться этому великому и славному мастерству весьма достойно, а учить других — позорно?

(146) Но, может быть, другие и скрывают это, а я всегда открыто признавал, что учился красноречию. В самом деле, мог ли я это отрицать, если я еще юношей покинул родину и ради этой самой науки отправился за море, если дом мой был полон ученийших мужей, если наша речь, как кажется, сохранила следы научных занятий, если, наконец, всякому доступны наши сочинения? Чего же мне было стыдиться? разве только слабости своих успехов.

Во всяком случае, то, о чем я говорил ранее, считается более достойное обсуждения, чем то, о чем мне предстоит говорить.

(147) Именно, разговор пойдет о соединении слов и даже о счете и мере слогов²; и если даже эти средства так необходимы, как мне кажется, то все же они более ярки в речи, чем в поучении. Так бывает всегда, а здесь в особенности. Нам приятнее смотреть на вершину дерева, чем на его ствол и корни, однако без них оно не может существовать; то же самое и в великих науках. И хотя широко известный стих³, что нельзя «стыдиться мастерства, каким владеешь ты», не позволяет мне скрывать, как приятны мне такие упражнения, и хотя эту книгу заставило меня написать твое же-

¹ При переходе гражданина из рода в род он должен был публично объявить перед народным собранием, что порывает сакральные узы, связывавшие его со старым родом. Этому обычаю посвятил книгу друг Цицерона Сульпиций Руф. «Защиту святынь» брал на себя оратор, защищая человека, которому грозило изгнание или *capitis deminutio*.

² О соединении слов — в § 149–200; о счете и мере слогов — в рассуждениях о ритме, особенно в § 191–198, 215–218

³ Известный стих — по-видимому, из несохранившейся комедии.

вание, все же я должен был ответить тем, чьи возражения я мог предугадать.

(148) Но даже если все, что я говорил, не убедительно, то будет ли кто-нибудь настолько суров и жесток, чтобы не сделать мне снисхождения за то, что теперь, когда мои знания и речи стали в общественных делах бесполезны, я не предался праздности, которая мне чужда, не предался скорби, которой я противлюсь, но предпочел заняться науками? Они ввели меня некогда в судилище и в курию, они теперь услаждают меня дома, и не только такими средствами, о которых написана эта книга, но и много более значительными и важными¹; и если бы я в этом преуспел, то мои домашние занятия сравнялись бы с моими делами на форуме. Но вернемся к начатым рассуждениям...

(236) Короче сказать, я думаю, что дело обстоит вот как: говорить стройно и складно, но без мыслей — есть недостаток разума, а говорить с мыслями, но без порядка и меры слов — есть недостаток красноречия; но особенность этого недостатка в том, что те, кто в нем повинны, не только не слышат глупцами, но напротив того, людьми разумными. Кому этого довольно, тот пусть так и делает. Истинно же красноречивый человек должен вызвать не только одобрение, но, если угодно, восторги, клики, рукоплескания; и он будет настолько возвышаться во всем, что ему должно быть стыдно, если что-нибудь сможет больше привлечь зрение или слух, нежели его выступление.

Заключительным и, возможно, самым интересным и значительным для нас, находящимися в начале третьего тысячелетия новой истории, остается вопрос о соотношении речи и власти. Именно в XX веке, осмысление и критика различных порядков «власти», ее связи с порядками «слов» и речи стало одной из наиболее актуальных философских тем. Тем более важно понять, чему противостоит «власть слова», откуда она возникает и каким образом может трансформироваться та политическая форма, которая основана на публичной речи.

Прежде всего, отметим, что для Цицерона важным оказывается сопоставление власти права и красноречия. Именно здесь намечается то фундаментальное различие, которое будет прослеживаться во всей дальнейшей истории европейской культуры и останется в качестве фундаментального принципа «разделения властей».

¹ Значительными и важными — имеются в виду, конечно, занятия философией.

Действительно, система права возникла в истории раньше и всегда оставалась основой государственной системы (как пишет Цицерон, «наука права всегда почиталась прекрасной, и дома знаменитых правоведов были полны учеников»). Напротив, система красноречия возникает не ранее, чем начинают функционировать первые публичные органы власти, зарождается система представительской демократии и, в конечном счете, создается «обратная связь» в отношении между властью и народом. В этом отношении, понятно, что красноречие оказывается одним из наиболее мощных инструментов оппонирования законодательной власти и, в конечном счете, формирования некоторого дополнительного пространства публичной власти — публичности, как таковой.

Это фундаментальное различие проявляется и далее на всех уровнях: законодательная власть является изначальной, публичная — вторичной. Статус научения закону неоспорим, в то время как научение красноречию требует постоянных обоснований и «защиты».

Принципиально различаются и пути передачи знания в системе законодательной и публичной власти: в первом случае знатоки законов консультируют и трактуют нормы, в то время как для приобретения публичной власти необходимо систематическое преподавание, ориентированное на личность ученика, его потребность в советах, поощрении, расспросах, обсуждении, помощи и т.д.

Это же разделение присутствует и в двух модальностях пользования словом, которые можно, с некоторой долей условности, обозначить как «исполнение законов» и «овладение собственным поведением». В первом случае, законодательная норма всегда трансцендентна своему практическому воплощению, и единственная модальность, которая возможна в отношении нормы, это ее беспрекословное исполнение. Во втором случае, речь и действие находятся в достаточно сложных взаимных трансформациях, при которых исполнение неизбежно приводит к проблематизации самой нормы, ее отношению с субъектом, и т.д. и т.п.

В принципе, эти две парадигмы напрямую соотносятся и с различными режимами власти и речи: авто- (как вариант, тео-кратической) и республиканской.

Заключение

Попытаемся в заключении сформулировать некоторые общие выводы, позволяющие не только объективировать вклад Цицерона в развитие представлений о мышлении и речи, но, что не менее важно, определить некоторые «силовые линии», вдоль которых бу-

дут строиться и развиваться современные исследования речемыслительных действий.

Во-первых, следует отметить, что соотношение между решениями проблемы «мышления и речи», предложенными Цицероном и Л.С. Выготским, достаточно неоднозначны. В то время как речь, сама по себе, в силу своей презентности, не является столь уж сложным объектом познания, статус и роль мышления оказываются принципиально различным. Для классической традиции статус мышления определяется его принадлежностью некоторому высшему и единому миру форм, в связи с чем можно говорить об идеальном мышлении (т.е. мышлении, не засоренном никакими «жизненными» впечатлениями и страстями) и об идеальной речи (которая представляет собой форму для идеального мышления). При этом идеальное мышление самотождественно и не имеет персональной специфики.

Неклассическая психология Л.С. Выготского исходит, по сути, из той же картины с единственным изменением: мышление оказывается принадлежащим культуре, и, в частности, закрепленным в культуре образцам деятельности и творчества. Именно образ действия оказывается источником для тех или иных мыслительных моделей и формаций, что, в конечном счете, уравнивает мышление в его соотнесенности с внеличностными, трансцендентальными источниками, но, с другой стороны, по-разному интерпретирует эти источники: либо в качестве порождений «чистой мысли», либо в качестве «культурных образцов».

С этим же связаны и различные культуры мышления и речи: соотношение между этими двумя уровнями бытия, а также модели раскрытия значения мысли в слове и, напротив, осмысления речи, будут меняться в историческом процессе, зависеть от специфики национально-культурного идеала и опыта, а также трансформироваться в течение человеческой жизни.

Во-вторых, каждая речевая традиция (как пишет Цицерон, «род речи» или «стиль речи») определяется множеством факторов, среди которых особую роль играют три базовых: простой (когда основное внимание уделяется понятности и практической значимости), умеренной (когда основное внимание уделяется красоте слога) и высокой (когда внимание уделяется впечатлению). Эта тройственность вполне соответствует как культурно-историческому представлению о тройственной детерминации речи объектом речи (о чем говорится), предметом речи (что говорится) и актором (кем говорится), а также психоаналитической интерпретации Ж. Лакана, выделяя-

шего сферу воображаемого (образы, идеи, смыслы), сферу реально-го (объекты высказываний) и сферу символического (используемая лексика и семантика). Близость различных моделей речевых практик показывает, что вне зависимости от конкретно-исторической реализации, европейская гуманитарная традиция, в значительной степени, сохраняет свои базовые проблемы и способы репрезентации на протяжении тысячелетий без каких-либо существенных изменений. Это дает еще одну возможность для историко-культурной рефлексии самой науки риторики, которая позволит понять и осмыслить, в чем заключается специфика речемыслительных представлений каждой эпохи, и как происходили трансформации этих представлений в истории европейской цивилизации.

В-третьих, особый интерес представляет данная Цицероном структура речемыслительного акта, включающая установление связи с реальностью, ее содержательное определение и, наконец, оценочное суждение. Любая речь порождается в сложном контексте символических соотнесений, парадигматических различий, оценочных соотнесений, иными словами, в некотором специфическом гуманитарном контексте. Для нас принципиально, что речевая деятельность выстраивается «поверх» той деятельности, о которой ведется повествование, т.е. эффектная речь всегда предполагает сопряжение «внешней» и «внутренней» деятельности, т.е. деятельности объектно- и субъектно-ориентированной.

В-четвертых, мышление и речь существуют в несколько разных плоскостях. Ни мышление не является «интериоризированной» речью, ни речь не является «внешней формой» мышления, но они движутся друг относительно друга как «слова» и их «смыслы». По сути, мы имеем дело с некоторым сложным возвратным движением, когда некоторая изначальная смысловая установка («мысль») воплощается в начале коммуникативного акта («речь»), затее, в зависимости от ответной реакции собеседника и изменения собственных установок говорящего, она может трансформироваться в некоторую новую смысловую установку («новая мысль»), и так далее.

В-пятых, публичная речь может преследовать различные цели, т.е. произноситься с разными смысловыми установками, оставаясь при этом «уместной». Это могут быть убеждение (т.е. приведение слушателя к тому же образу мира и действия, что и у автора), услаждение (т.е. разрешение внутренних проблем и противоречий слушающего, обращение его к некоторым эстетическим переживаниям) и увлечение (эмоциональное заражение слушателя, подготовка его к важным действиям). Каждая из этих установок отражает опреде-

ленный способ контроля над слушателями: рациональный, эмоциональный или волевой. Однако, внутри каждого из этих способов наличествует, как минимум, две линии уместности — с точки зрения говорящего (внутренняя уместность, насколько речь соответствует замыслу) и с точки зрения слушающего (внешняя уместность, насколько речь соответствует его ожиданиям). При этом в процессе речи, внутренняя и внешняя уместность могут существенно трансформироваться и расходиться друг с другом.

В-шестых, уместность речи, в немалой степени, определяется историческими и культурными факторами. Уже для Цицерона было очевидно, что общая логика развития находится в переходе от «высоких» и «умеренных» стилей речи к «простым», или «аттическим», причем, как мы выяснили, этот переход, в значительной степени, коррелирует с постепенным возвышением личности из толпы и признанием ее суверенитета.

В-седьмых, вопрос о формировании оратора, так или иначе, выходит на проблему соотношения между технологическим и научно-философским компонентами в образовании. Можно даже говорить о двух типах образования: мыслительном (строящемся на основании научных процедур сопоставления и оценки различных альтернатив) и речевом (строящемся на усвоении наиболее успешных и эффективных способов рассуждения и речи).

Наконец, в-восьмых, исторически существует и вполне оправдана дихотомия между законосообразностью и риторической культурой. Более древняя (и, в определенной степени, архаичная) традиция связана с применением закона, в связи с чем, наибольшим авторитетом пользуется человек, применяющий закон, но не обязанный его обосновывать или уточнять. Публичная власть, возникает гораздо позже и строится как практика «защиты» или, в самых своих смелых проявлениях, «исправления» законов, и именно ей обязано красноречие своим расцветом. Очевидна связь между публичностью в политике и ростом авторитета риторического знания, иными словами, в каждом государстве и в каждое историческое время развитие республиканских способов власти способствует совершенствованию риторики и гуманизации общественной жизни; напротив, усиление законодательного регулирования приводит к истощению и сокращению риторической культуры, и, одновременно, «гуманитарному кризису» в обществе.